

НИЧТО НЕ ВОЛЬНОСТЬ...

ДИСКУССИЯ о литературной классике на экране идет всегда. Вот, кажется, залили пламя спора доводами, завалили густой белой огнетушительной пеной выводов, засыпали песком соображений. Только отвернулись — есть ведь дела и кроме этого, не так ли? — глядь, из-под всего этого опять полыхнул какой-нибудь самовозгорающийся пример.

Ситуация порой выглядит несколько тупиковой. Допустим, Эльдар Рязанов повинен в том, что не следовал Александру Николаевичу Островскому с должной бережливостью. Понятно. Но тут же, буквально чуть ли не в следующей статье, выясняется, что Михаил Швейцер следовал Николаю Васильевичу Гоголю с возможной абсолютностью и в этом-то и виноват; получилось иллюстративно. Опять-таки, «Несколько дней из жизни Ильи Ильича Обломова» сомнительны непослушностью первоисточнику, а «Подорож» — послушностью чрезмерной.

Только участники битвы готовы, кажется, смириться с грустным, но, по видимому, неизбежным выводом, что успех здесь вообще невозможен, как кто-нибудь вспомнит: а «Неоконченная пьеса для механического пианино»? И в обоих лагерях слышны восторженные вздохи: о, «Неоконченная пьеса...!» Это совсем другое дело! Свобода по отношению к раннему Чехову не то чтобы искупается, а прямо-таки диктуется любовью к нему. Кто-нибудь приводит по памяти стихи из другой области, но к случаю:

Не страшен вольный перевод.

Ничто не вольность, если любишь.

Но если музыку погубишь,

Все мысли это переверт, —

и опять-таки многие согласятся.

НО ЛЮДИ, естественно, смотрят все это по вечерам, а тут, допустим, днем, когда все на работе, как-то стыдливо промелькнет что-нибудь свежее, трепетное в своей чистоте и бережливости — и ни ответа ни привета. Анатолий Адоскин вот так позавчера днем был и автором, и исполнителем передачи, посвященной поэзии Дельвига. Это уже и не премьера, а повтор — тем необходимее вмешательство.

Почему? Потому что в искусстве, как, впрочем, и везде, ничто доброе и хо-



рошее не должно зря пропадать в безвестности только из-за того, что надлено скромностью, а претензиями не надлено.

Судьба передачи опять, по иронии судьбы, переключается с судьбой ее героя. Для многих передачи о поэте Дельвиге не было точно так же, как для многих же не существовало и такого поэта, Дельвига.

А вот А. Адоскин его любит. Не по тому мы это заключаем, что актер клянется в своей любви, употребляя размашистые жесты и повышенную интонацию. Ничего этого нет. В присутствии, как сказали бы в прошлом веке, «тени Дельвига» это было бы неуместно.

И, может быть, именно пример героя подсказал исполнителю точную интонацию: не восторг, не гневные упреки, а застенчивое признание — вот что проходит перед нами и действует на нас.

Это мы уж можем позволить себе и некоторый нажим. В самом деле, кто не знает, не признает сегодня всепобеждающей пушкинской лиры? Если и попадают такие, то о них и говорить не хочется. Но кто, спрашивается, признал и узнал ее первым? Милый лицейский увалень, барон, у которого «крепостных душ мужеска пола нет», русский поэт со странноватой фамилией, в которой, не правда ли, уже слышатся и мягкость, и какая-то надежная точность, — Антон Дельвиг.

А. Адоскин читает стихи и отрывки из прозаических свидетельств современников. Очень мало своего соединительного текста — так, самые скудные примечания.

Но он комментирует все иначе, по-своему, по-актерски, давая нам возможность увидеть образ. Лень пиитическая (вообще-то лень, разумеется, нехвальное качество) предстает здесь как «тайная свобода», как способ уклонения от александровской и еще более мучительной николаевской действительности.

«**ЛЕНИВЕЦ** праздный», оказывается, успел сделать очень немало для зарождающейся русской

классической литературы. Альманах «Северные цветы» издавал, «Литературную газету». Воспитывал у публики высокий вкус, энергично боролся за исправление литературных и журнальных нравов, успевал передать читателям сочувствие революционным событиям во Франции и т. д.

Был лучшим другом Пушкина. Понял его чуть ли не раньше и не глубже, чем сам Пушкин понимал себя. Великий Пушкин, маленькое дитя! Никто не поворачивал нашими каменными сердцами так, как ты... Чего здесь больше? Социальной мудрости или дружеской нежности?

А. Адоскин умеет двумя-тремя штрихами набросать нам и портреты современников. Особенно хорош этот. Задиристая, запальчивая надменность тона, а вместе и какая-то обиженность. Громогласное перечисление невероятных литературных своих заслуг, и чем бесконечней их список, тем невозможней запомнить ни одной... Так вот он какой, Фаддей Венедиктович Булгарин!

Бенкендорф иной. Супруга Антона Антоновича Дельвига (и ее образ промелькнул и запомнился), — естественно, третья. Адоскин ничего не объясняет, но все показывает.

Однако мемуаристика о Дельвиге наполнена враждебными, пренебрежительными свидетельствами. Как с ними быть? Опустить? Отчего же. Пусть их звучат.

Лентяй... Бездельник... Слабый поэт, не поэт вообще... Жил припеваючи... В браке стал еще счастливей...

Вот такому каждому высказыванию, чуть оно отзвучало, следует резкий, негодующий крик невидимой виолончели. Там, где вы видите многоточия, врывается музыка: нет! Нет! Ложь!

Мы видим положительного-прекрасного человека, и не в унылых (скажем, эгегических) обстоятельствах, а в обстоятельствах трагических. Дельвиг погибает, буквально затравленный Бенкендорфом и Булгариным.

Но побеждает — в дружбе Пушкина и Вяземского, в скорби Баратынского, в нашей любви и даже гордости, что был, оказывается, Дельвиг таким чудесным, таким понятным и близким нам. Его стихи мы слушаем, побежденные заранее, и теперь кто скажет, что они плохие, — ни за что не согласимся.

А. АРОНОВ.